



I

...Как-то раз — Мальке тогда уже умел плавать — мы лежали на траве возле площадки для игры в лапту. Мне бы следовало сходить к зубному врачу, но они меня не отпустили: заменить защитника — дело нелегкое. Зуб у меня гудел. Кошка по диагонали пересекала лужайку, и никто ничем в нее не бросал. Одни жевали травинки, другие общипывали метелочки со стебельков. Хоттен Зоннтаг протирал свою лапту шерстяным чулком. Мой зуб занимался бегом на месте. Матч длился уже два часа. Мы отчаянно продулись и надеяться могли только на реванш. Кошка была молоденькая, но уже не котенок. На стадионе гандболисты раз за разом забивали мяч в ворота. Мой зуб твердил свое. На гаревой дорожке бегуны на сто метров то ли отрабатывали старт, то ли просто нервничали. Кошка кружила по лужайке. В небе медленно тащился грохочущий трехмоторный самолет, однако заглушить мой зуб ему не удавалось. Черная кошка сторожа при площадке то тут, то там выставяла из травы свою белую манишку. Мальке спал. Крематорий между Объединенными кладбищами и Высшим техническим училищем работал при восточном ветре. Учитель Малленбрандт засвистел в свой свисток: аут. Кошка тренировалась. Мальке спал или казался спящим. Рядом с ним я мучился зубной болью. Кошка, тренируясь, подошла ближе. Она заметила кадьяк Мальке, потому что он был большой, непрерывно двигался и отбрасывал тень. Кошка сторожа распласталась

между мной и Мальке, готовясь к прыжку. Мы образовали треугольник. Мой зуб смолк и прекратил бег на месте, верно потому, что кадык Мальке стал для кошки мышью. Она была так молода, эта кошечка, а Малькова штука так подвижна — короче говоря, она вцепилась ему в горло, а возможно, кто-нибудь из нас схватил ее и бросил ему на шею, возможно даже, что это я со своей зубной болю или без оной нацелил кошку на его кадык. Йоахим Мальке закричал — впрочем, он отделался небольшими царапинами.

Но я, подсунувший твой кадык этой и всем другим кошкам, теперь обязан писать. Даже если бы мы с тобой оба оказались выдумкой — все равно обязан. Тот, кто в силу своей профессии выдумал нас, заставляет меня снова и снова брать в руки твое адамово яблоко и переносить его в те места, где оно побеждало или оказывалось побежденным. Итак, для начала пусть мышь снует вверх и вниз над отверткой, я же высоко над головой Мальке выпущу в задувающий рывками норд-ост стаю разьевшихся чаек, погоду назову летней и установившейся, предположу, что эти обломки некогда были тральщиком класса «Чайка», придам Балтийскому морю густой зеленый цвет бутылки из-под сельтерской, устрою так, что кожа Мальке — поскольку уже решено, что действие происходит в новом фарватере, юго-восточнее причального буя, — кожа, по которой еще ручейками стекает вода, покроется пупырышками, станет так называемой «гусиной кожей», но не страх, а обычный озноб после слишком долгого купания будет сотрясать Мальке и делать его кожу шершавой.

Все мы, худые и длиннорукие, широко раздвинув колени, сидели на корточках на капитанском мостике, и никто из нас не подстрекал Мальке еще раз нырнуть в носовой отсек затонувшего судна и там, в машинном отделении,

с помощью своей отвертки добыть винтик, колесико или еще какую-нибудь дребедень — латунную дощечку, например, густо исписанную на польском или английском языке указаниями, как пользоваться тем или иным механизмом. Мы ведь сидели на торчавших из воды палубных надстройках бывшего польского тральщика класса «Чайка», сошедшего со стапелей в Модлине и оснащенного в Гдыне, который год назад затонул юго-восточнее причального буя, следовательно вне фарватера, и потому ничуть не мешал движению судов.

С той поры чайчий помет всегда сох на ржавом железе. Чайки, жирные, гладкие, с глазами как нашитые бусинки, летали при любой погоде, то низко над обломками нактоуза, уже готовясь схватить добычу, то опять высоко и беспорядочно по какому-то им одним понятному плану, и в полете прыскали своим слизистым пометом, почему-то никогда не попадавшим в море, а всегда на ржавую надстройку мостика. Эти выделения затвердевали, обызвествлялись и комочками ложились друг подле друга, а не то скапливались в большие комья. Забравшись на тральщик, мы тотчас же начинали пальцами рук и ног сковыривать помет. Поэтому у нас и ломались ногти, а вовсе не оттого, что мы их грызли, вечно грыз ногти только Шиллинг, отчего пальцы у него всегда были в заусенцах. Длинные ногти, желтые от частого ныряния, были лишь у Мальке; он их берег, не грыз, не отдирали ими чайчий помет. Вдобавок он один из всех никогда не ел этих комочков, тогда как мы, раз уж они оказались под рукой, жевали их, словно осколки ракушек, и сплевывали за борт пенную слизь. Вкуса они никакого не имели, хотя, пожалуй, отдавали гипсом, рыбной мукой, — вернее, всем, что ни приходило на ум: счастьем, девочками, Господом Богом. Винтер, а он очень недурно пел, как-то раз заявил: «А вы знаете, что тенора каждый

день едят чайчий помет?» Чайки, случалось, на лету ловили наши плевки, не замечая подвоха.

Когда Йоахиму Мальке вскоре после начала войны стукнуло четырнадцать, он не умел ни плавать, ни ездить на велосипеде, да и адамова яблока, позднее приманившего кошку, у него еще не было. От гимнастики и плавания он был освобожден, потому что считался болезненным и умело это подтверждал соответствующими справками. Еще до того как Мальке научился хорошо ездить на велосипеде и до упаду смешил всех своим напряженно-неподвижным лицом, торчащими красными ушами и растопыренными коленями, которые дергались то вверх, то вниз, он задумал учиться плавать и записался в секцию плавания, но был допущен только к упражнениям на суше вместе с восьми- и десятилетними ребятами. Ему еще и следующим летом пришлось довольствоваться тем же самым. Тренеру этого заведения в Брёзене, типичному пловцу с поджарым животом и тонкими безволосыми ногами, пришлось сначала муштровать Мальке на песке и лишь потом перейти к упражнениям на воде. Но когда мы день за днем стали делать большие заплывы и рассказывать всякие чудеса о затонувшем тральщике, это послужило для него могучим стимулом, и он за две недели стал пловцом что надо.

Сосредоточенно и упорно кружил он между сходнями, большим трамплином и купальней и уже приобрел некоторый навык, когда ему вздумалось поупражняться в нырянии неподалеку от волнореза. Сначала он доставал со дна обыкновенные балтийские ракушки, затем нырнул за пивной бутылкой, вытащил ее из воды и зашвырнул довольно далеко. Видно, Мальке теперь уже регулярно удавалось доставать бутылку со дна, потому что, когда он стал нырять

с нашей лодчонки, новичком его уже никак нельзя было назвать.

Он умолял нас взять его с собой. Мы, шесть или семь парней, собираясь в очередной заплыв, предусмотрительно плескались в мелководном квадрате семейной купальни, когда Мальке вдруг возник на сходнях мужской.

— Возьмите меня с собой. Вот увидите, я не отстану.

Отвертка болталась у него под горлом и отвлекала внимание от кадыка.

— Ладно, валай!

Мальке поплыл и опередил нас между первой и второй отмелью. Мы и не пытались его догнать.

— Пусть себе старается.

Когда он плыл на животе, отвертка — ее деревянная ручка была видна издалека — плясала у него между лопаток. Когда он переворачивался на спину, ручка подпрыгивала у него на груди, но ни разу целиком не закрыла злополучного хряща между подбородком и ключицей, который торчал над водой, как плавник, и оставлял за собой буруны.

Но тут уж Мальке нам показал. Он нырнул со своей отверткой несколько раз подряд и вытащил на поверхность все, что можно было отвинтить или отковырнуть за двух- или трехкратное ныряние: какую-то крышку, куски обшивки, деталь генератора; еще он нашел трос и, прицепив к нему крюк, выудил из носового отсека судна огнетушитель «Минимакс». Эта штука — кстати, немецкого производства — и сейчас годилась к употреблению. Мальке выпускал пену, демонстрировал, как тушат пеной, пеной тушил стеклянно-зеленое море — и с первого же дня гигантски возвысился над нами.

Хлопья пены все еще лежали островками и долгими полосами на плоской, ровно дышащей зыби; они привлекли нескольких чаек, нескольких чаек отогнали, потом

сбежались и понеслись к берегу — неаппетитное створоженное месиво из прокисших сбитых сливок. Мальке, видно, решил закончить свой рабочий день, прикорнув в тени нактоуза, и тут — нет, уже много раньше, еще до того, как заблудившиеся хлопья пены устало прилегли на мостике, трепеща от каждого легчайшего дуновения, — кожа у него покрылась той самой зернистой россыпью.

Мальке дрожал мелкой дрожью, его кадык сновал вниз-вверх, и отвертка пускалась в пляс над сотрясавшейся ключицей. Спина его — плоскость со светлыми пятнами, а ниже плеч красная и точно ошпаренная, — на которой по обе стороны позвоночника, ребристого, как стиральная доска, от свежего загара шелушилась кожа, тоже покрылась пупырышками и подергивалась в приступах набегавшего озноба. Синяя полоска обвела его побелевший рот, обнаживший стучащие зубы. Большими выщелоченными руками он пытался удержать свои колени, скребшиеся о заросшую ракушками переборку.

Хоттен Зоннтаг — или это был я? — растер Мальке полотенцем.

— Смотри как бы не слететь с катушек, нам еще обратно плыть.

Отвертка стала вести себя разумнее.

Чтобы с мола доплыть до лодчонки, так мы называли затонувший тральщик, нам требовалось двадцать пять минут, от купален — тридцать пять, на обратный путь ушло добрых три четверти часа. Мальке, пусть даже вконец выдохшийся, всегда минутой раньше нас стоял на гранитном молу. Преимуществом первого дня он не поступился и в дальнейшем. Случалось, мы еще только подплывали к лодчонке, а он уже успел побывать под водой, и, когда мы морщавыми, как у прачек, руками все приблизительно

в одно время цеплялись за ржавый, покрытый чаячьим пометом мостик, он уже молча показывал нам какой-нибудь шарнир или другую легко отвинчивающуюся шутовину, весь дрожа от озноба, хотя после второго, а может быть, третьего заплыва начал густо и расточительно смазывать тело кремом «Нивея» — карманных денег у Мальке было предостаточно.

Мальке был единственным сыном.

Мальке был сиротой.

Отца Мальке не было в живых.

Мальке зимой и летом ходил в высоких старомодных ботинках, надо думать унаследованных от отца.

На шнурок от высоких черных ботинок он и прицепил отвертку, которая болталась у него на шее.

Теперь мне вспоминается, что Мальке, кроме отвертки, еще что-то носил на шее, и на то у него были свои причины; но отвертка больше бросалась в глаза.

Наверно, уже давно, только мы не обратили на это внимания, наверняка и в тот день, когда Мальке стал учиться плавать посуху и усердно ползал по песку, у него на шее была серебряная цепочка, а на ней серебряная католическая подвеска — Богоматерь.

Никогда, даже на уроке гимнастики, Мальке не снимал этого украшения, а в наш гимнастический зал он заявился, едва начав заниматься в зимнем бассейне сухим плаванием, и с тех пор ни разу уже ни от какого домашнего врача справок не приносил. Серебряная подвеска иногда исчезала в вырезе спортивной рубашки, иногда же Пречистая болталась над ее красной нагрудной полосой.

Мальке не потел даже на параллельных брусьях. Он упражнялся и на коне, а на это отваживались еще только три или четыре парня из первой команды; оттолкнувшись от трамплина, согнутый в три погибели и тем не менее

весь — сила и упругость, со своей цепочкой и выскочившей из-под рубашки Богоматерью, он перелетал через коня и боком приземлялся на мате, поднимая облако пыли. Когда он делал на перекладине обороты завесом — впоследствии он в неудобнейшем положении делал на два оборота больше, чем Хоттен Зоннтаг, лучший наш гимнаст, — итак, когда Мальке выдавал тридцать семь оборотов завесом, амулет выбрасывало из-под рубашки, и серебряная Богоматерь тридцать семь раз — всегда впереди его русских волос — перекувыркивалась через скрипящую перекладину, но все же не слетала с шеи и не вырывалась на свободу, так как, кроме кадыка, тормозившего ее движение, еще и выпирающий затылок Мальке с отчетливой впадиной под волосами не давал соскользнуть цепочке.

Отвертка висела поверх Богоматери, шнурок, к которому она была прицеплена, местами прикрывал цепочку. Тем не менее этот инструмент не смог вытеснить амулет хотя бы уж потому, что ему с его деревянной рукояткой доступ в гимнастический зал был запрещен. Учитель гимнастики, некий Малленбрандт, знаменитость в кругу гимнастов, так как он написал основополагающую книгу о правилах игры в лапту, запретил Мальке во время уроков гимнастики носить на шее отвертку. Против амулета он не возражал, потому что, кроме гимнастики и географии, преподавал еще Закон Божий и вплоть до второго года войны умудрялся собирать в гимнастическом зале остатки католического рабочего общества гимнастов для упражнений на перекладине и на брусках.

Отвертке только и оставалось, что дожидаться в раздевалке поверх рубахи, покуда серебряная и довольно-таки стертая Богоматерь, болтаясь на шее Мальке, помогала ему не сломать таковую во время самых рискованных упражнений.

Обыкновенная отвертка — прочная и дешевая: Мальке часто приходилось нырять раз пять или шесть, чтобы вытащить на свет божий узкую дощечку, не больше тех, что с выгравированным на них именем жильца двумя шурупами крепятся на квартирной двери, в особенности если эта дощечка крепилась к металлу и винты на ней прожгавели. Зато иной раз ему удавалось, нырнув всего два раза, достать большие пластинки с пространными надписями; пользуясь своей отверткой как ломом, он выламывал их вместе с шурупами из прогнившей деревянной обшивки, чтобы на мостике похвастаться своей добычей. К коллекционированию таких табличек Мальке относился небрежно, щедро дарил их Винтеру и Юргену Купке, которые собирали все, что отвинчивалось, не брезгуя даже табличками с названиями улиц и вывесками общественных уборных, домой же уносил лишь то, что ему приглянулось.

Мальке не старался облегчить себе жизнь: пока мы клевали носом на лодчонке, он работал под водой. Мы отковыривали чаячий помет, загорали дочерна, из русских становились соломенно-желтыми. Мальке же только обзаводился новыми солнечными ожогами. Мы лениво следили за движением судов севернее причального буя, а у него взгляд всегда был устремлен вниз — красноватые, слегка воспаленные веки с жидкими ресницами и глаза, кажется голубые, становившиеся любопытными только под водой. Не раз Мальке возвращался без дощечек, без добычи да еще со сломанной или безнадежно согнутой отверткой. Показывая ее нам, он опять-таки производил впечатление. Жест, каким он швырял в море это орудие, сбивая с толку чаек, не выражал ни вялого разочарования, ни бессмысленной ярости. Никогда он не выбрасывал пришедший в негодность инструмент с наигранным или подлинным

безразличием. Его жест говорил: погодите, скоро я вам покажу что-нибудь похлеще.

...И вот однажды, когда в гавань вошло двухтрубное госпитальное судно, в котором мы после недолгих колебаний опознали «Кайзера», приписанного к Восточно-Прусской военно-морской флотилии, Мальке без отвертки отправился в носовой отсек тральщика, скрылся в отверстом зеленом люке, двумя пальцами зажал ноздри, всунул голову с гладкими от плавания и ныряния, посередине распадающимися на пробор волосами, затем подтянул туловище и зад, слева от себя выпустил воздух и, обеими ступнями оттолкнувшись от краев люка, наискось пошел вниз, в сумеречно-прохладный аквариум, озаряемый лишь слабым свечением воды за открытыми иллюминаторами: нервные колюшки, неподвижная стая миног, тихонько раскачивающиеся, но все еще прочно закрепленные матросские койки, заплесневелые, с мотающимися бородами водорослей, в которых кильки селили свою детвору. Редко-редко — отставшая от стаи навага. Об угрях разве что слухи. О камбале ни слуху ни духу.

Мы придерживали свои слегка дрожавшие колени, чаячий помет у нас на зубах превращался в мокроту, беспокоились, ощущали усталость и некоторую заинтересованность тоже, считали военные катера в составе эскадры, не сводили глаз с труб госпитального судна, все еще вертикально выпускавших дым, искоса друг на друга поглядывали — что-то долго он пропадает, чайки кружили в воздухе, волны с плеском набегали на нос тральщика и разбивались о держатели демонтированного носового орудия, журчание слышалось за мостиком, где вода между вытяжками устремлялась вспять и упорно лизала всё те же заклепки; известь под ногами, зуд пересохшей кожи, мерцание моря, стук мотора

по ветру, семнадцать тополей между Брёзеном и Глетткау; наконец он появился на поверхности, с иссиня-красным подбородком, с желтизной, разлившейся по скулам, головой с пробором посредине вытеснил воду из люка, шатаясь, по колено в воде, схватился за поручни, встал на колени, бессмысленно вытаращил глаза — нам пришлось втащить его на мостик. Вода еще текла у него из носа и из уголков рта, а он уже показывал нам отвертку из целого куска стали. Английский инструмент, еще покрытый слоем солидола. На нем было выгравировано: «Шеффилд». Ни ржавого пятнышка, ни зазубринки, капли воды на этой отвертке принимали шаровидную форму и скатывались вниз.

Эту тяжелую, я бы сказал, неистребимую отвертку Йоахим Мальке изо дня в день носил на шее больше года, даже когда мы уже не плавали на свою лодчонку или плавали лишь изредка. Он сделал из нее своего рода культ — хотя или как раз потому, что он был католик. Перед уроком гимнастики, например, отдавал ее учителю Малленбрандту на хранение — видно, боялся воров — и таскал ее с собой даже в церковь. А Мальке не только по воскресеньям, но и в будни, еще до начала занятий, ходил к ранней обедне в церковь на Военно-морской дороге, пониже кооперативного поселка Новая Шотландия.

Ему, с его английской отверткой, до церкви Девы Марии было недалеко: пройти по Остерцейле и спуститься вниз до Беренвег. Множество двухэтажных домишек, а также виллы с двускатными крышами, с колоннами и шпалерными плодовыми деревьями. За ними — два ряда домов, расцветенных или не расцветенных водяными затеками. Справа — трамвайная линия делала поворот, его повторяли провода, подвешенные под обычно хмурым небом, слева — худосочные песчаные огородики

железнодорожников, дачки и сарайчики для кроликов из черно-красной деревянной обшивки списанных товарных вагонов. За ними — сигнальные установки путей, ведущих в открытую гавань. Силосные башни, краны,двигающиеся или застывшие. И неожиданно красочные надстройки грузовых судов. Рядом — два серых линейных корабля со старомодными башнями, плавучий док, хлебо-завод «Германия»; и на небольшой высоте — несколько чуть покачивающихся привязных аэростатов, наевших серебристое брюхо. Зато по правую руку, перед бывшей школой имени Елены Ланге, ныне школой Гудрун, заслоняющей железный хаос верфей и основание большого крана с горизонтальной стрелой, — ухоженные спортплощадки, свежепокрашенные ворота, белые линии штрафных полей, прочерченные на коротко подстриженном газоне, — в воскресенье желто-голубые будут играть против «Шелльмюль-98», — никаких трибун, но вполне современный высокооконный и светлый гимнастический зал, ярко-красную крышу которого странным образом оседлал просмоленный деревянный крест. Дело в том, что церковь Девы Марии пришлось соорудить в бывшем гимнастическом зале спортивного общества «Новая Шотландия», так как церковь Сердца Христова находилась слишком далеко и обитатели Новой Шотландии, Шелльмюля и поселка между Остер- и Вестерцейле годами слали ходатайства в епископат в Оливе, покуда там наконец не решились купить гимнастический зал, перестроить и освятить его.

Хотя церковь Девы Марии продолжала неоспоримо походить на гимнастический зал, несмотря на множество красочных икон и декоративных украшений, добытых из подвалов и кладовых чуть ли не всех церквей епископата, а также из частных коллекций, — даже запах ладана и восковых свечей не всегда, а полностью никогда

не мог возобладать над застарелой вонью мела, кожи, пота гимнастов и гандболистов, и это сообщало ей нечто евангелически скарредное, фанатическую трезвость модельного дома.

В новоготической, построенной в девятнадцатом столетии из обожженного кирпича церкви Сердца Христова, в стороне от поселков и неподалеку от пригородного вокзала, Йоахим Мальке со своей отверткой выглядел бы нелепо и безобразно. У Пресвятой Девы Марии он спокойно и не таясь мог носить на шее свой высококачественный английский инструмент: эта церквушка, с тщательно вымытым линолеумом, покрывавшим пол, с квадратными матовыми светильниками под самым потолком, с хорошо пригнанными креплениями в полу, в свое время служившими опорой для турника, с железными, хотя и побеленными балками под обшитым досками бетонным потолком, к которым некогда были приделаны кольца, трапеции и с полдюжины шестов и канатов для лазания, несмотря на раскрашенные и позолоченные гипсовые статуи, пластично простертыми руками благословлявшие прихожан, была столь современна и холодно рационалистична, что стальная отвертка, которую молящийся или даже причащающийся гимназист считал необходимым нацепить на себя, не бросалась в глаза ни его преподобию Гузевскому, ни сонному служке, которым частенько бывал и я.

Ерунда! Уж от моего взора она бы не укрылась. Исполняя свои обязанности перед алтарем, даже во время обряда причастия по разным причинам старался не выпускать тебя из виду; но ты на это и внимания не обращал. Отвертка на шнурке висела у тебя под рубахой, на которой проступали довольно приметные жирные пятна, неясно повторявшие очертания этого инструмента. Мальке

преклонял колена у второй скамьи левого ряда, если смотреть от алтаря, и, широко раскрыв глаза — сдается мне, светло-серые, нередко воспаленные от ныряния и плаванья, — нацеливал свою молитву прямо на Богородицу в алтаре.

...И вот однажды, теперь уже точно не помню, в какое лето — то ли во время первых летних каникул на лодчонке, вскоре после заварухи во Франции, то ли в следующее, в день, подернутый знойной дымкой, с толкотней в семейной купальне, с поникшими вымпелами, распаренными телами и усиленным товарооборотом в киосках с прохладительными напитками, с обожженными подошвами на кокосовых половиках перед запертыми кабинками, полными хихиканья, среди расшалившихся детей с их возней, пачкотней — кто-то ногу порезал, — среди племени ныне уже двадцатитрехлетних, под ногами у озабоченно склонившихся взрослых трехлетний бутуз монотонно лупит по детскому жестяному барабану, превращая день в адскую кузницу. Тут уж мы не выдерживаем и плывем к нашей лодчонке; с пляжа в морской бинокль тренера — шесть все уменьшающихся голов, но одна — впереди, одна — первая у цели.

Мы бросились на овьянное ветром и все же раскаленное железо, покрытое ржавчиной и чаячьим пометом, не в силах пошевелиться, тогда как Мальке уже два раза побывал внизу. Он вынырнул с добычей в левой руке; в матросском кубрике, где полусгнившие койки либо тихонько покачивались, либо все еще прочно держались на местах, в тучах всеми цветами радуги отливающих колюшек, в густых лесах водорослей, среди снующих миног он рыскал и шарил и наконец нашел в куче заросшего илом хлама вещевой мешок матроса Витольда Душинского или Лишинского,

а в нем бронзовую пластинку размером с ладонь, на одной стороне которой, под маленьким и гордым польским орлом, были выгравированы имя ее владельца и дата вручения, а на другой красовалось рельефное изображение усатого генерала. После того как мы протерли пластинку песком и размельченным чайным пометом, надпись на ней открыла нам, что Мальке вытащил на свет божий портрет маршала Пилсудского.

Две недели кряду Мальке лишь за такими штуками и охотился. Он нашел похожую на оловянную тарелку памятную медаль регаты 1934 года, состоявшейся на Гдыньском рейде, и там же, перед машинным отделением, в тесной и труднодоступной кают-компании, ту серебряную бляшку величиной с одномарковую монету, с серебряным же ушком для ленточки, с вытертой до гладкости задней стороной, с богато профилированной и украшенной передней: четкий рельеф Богоматери с Младенцем.

Это была, как явствовало из столь же рельефной надписи, прославленная Матка боска Ченстоховска. Мальке не стал чистить серебро, предпочел сохранить черноватую патину, когда на мостике рассмотрел, что он извлек со дна, и не взял чистого наносного песка, который мы ему предлагали для этой цели.

Но куда мы спорили, непременно желая, чтоб серебро заблестело, он уже опустился на колени в тени нактоуза и так долго вертел туда и сюда свою находку, пока она не оказалась под углом, наиболее соответствовавшим его благоговейно потупленному взору. Мы смеялись, когда он, позеленевший и дрожащий, осенил себя крестным знаменем, — кончики пальцев у него были выщелоченные, трясущиеся губы тщились двигаться, как то подобает в молитве, и за нактоузом послышалось латинское бормотание. Я и поныне думаю, что это были слова из его любимой

секвенции, той, что поется лишь раз в году — в пятницу перед вербным воскресеньем: «*Virgo virginum praeclara, / Mihi iam non sis amara...*»*

Позднее, когда наш директор Клозе запретил Мальке являться на занятия с этой польской штукой на шее — Клозе усиленно занимался политической деятельностью и преподавал лишь от случая к случаю, — Мальке пришлось довольствоваться прежним амулетом и стальной отверткой под кадыком, который для кошки сошел за мышь.

Черно-серебряную Богоматерь он повесил между бронзовым профилем Пилсудского и открыткой с портретом Бонте, героя битвы при Нарвике.

* «О дева, славнейшая из дев, не отринь меня...» (лат.)

II

Култ Богоматери — было ли это шутовством? Ваш дом стоял на Вестерцейле. Твой юмор, если ты им обладал, был весьма своеобразен. Нет, вы жили на Остерцейле. Ведь все улицы поселка выглядели одинаково. Но даже когда ты ел бутерброд, мы покатывались со смеху. И дивились, что смеемся над тобой. Когда же учитель Брунис опрашивал своих учеников, кто какую намерен избрать профессию, и ты — в ту пору ты уже умел плавать — в ответ заявил: «Я хочу стать клоуном и смешить людей», в нашей четырехугольной классной комнате ни один человек не рассмеялся, а мне даже стало страшно, так как Мальке, во всеуслышание высказывая желание стать клоуном в цирке или еще где-нибудь, соорудил до того серьезную мину, что невольно возникло опасение: он и правда будет до ужаса смешить людей, хотя бы культом Святой девы Марии, помещенным где-то между номером укротителя и акробатами на трапеции. Ну а молитва на лодчонке — было это всерьез или тебе вздумалось подшутить над нами?

Он жил на Остерцейле, а не на Вестерцейле. Их домик стоял рядом, среди и напротив таких же домиков, отличавшихся друг от друга разве что номерами да еще, пожалуй, гардинами разного рисунка и по-разному повешенными, но уж никак не растительностью в узеньких палисадниках. К тому же в каждом палисаднике были скворечники на стенах и фигурки из обливной глины: лягушки, мухоморы или гномы. Перед домом Мальке сидела керамическая лягушка.

Но и перед соседним домом и следующим за соседним сидели зеленые керамические лягушки.

Короче говоря, это был номер двадцать четыре, и если идти с Вольфсвег, то Мальке жил в четвертом доме по левой руке. Остерцейле, так же как и параллельная Вестерцейле, под прямым углом сходилась с Беренвег, идущей параллельно Вольфсвег. Тот, кто спускался с Вольфсвег на Вестерцейле, слева от себя за красными черепичными крышами видел фасад и западную сторону башни с оксидированным куполом. Тот, кто в этом же направлении шел вниз по Остерцейле, справа над крышами видел передний фасад и восточную сторону той же самой колокольни; дело в том, что церковь Сердца Христова стояла точно посредине между этими улицами на противоположной стороне Беренвег и на четырех своих циферблатах под зеленым куполом показывала точное время всему кварталу от площади Макса Гальбе до католической церкви Пресвятой Девы Марии, не имевшей часов, от Магдебургской до Позадовской улицы, позволяя рабочим, все равно евангелистам или католикам, служащим, продавщицам, ученикам народных школ и гимназистам независимо от их вероисповедания минута в минуту приходить на работу или в учебное заведение.

Из своего окна Мальке видел восточный циферблат башни. Под двускатной крышей меж слегка скошенных стен, с дождем и градом, стучащим над самой его головой, всегда причесанной на прямой пробор, устроил он свою комнатку: мансарда, полная мальчишеской дребедени — от коллекции бабочек до открыток с портретами популярных актеров, увешанных орденами пилотов-истребителей и генералов танковых войск; среди всего этого олеография без рамки — Сикстинская мадонна с двумя толстощековыми ангелами у нижнего края картины, вышеупомянутая медаль

с вычеканенным профилем Пилсудского и священный амулет из Ченстоховы рядом с фотографией командующего нарвикской эскадрой эсминцев.

В первое же посещение мне бросилось в глаза чучело снежной совы. Я жил неподалеку, но речь пойдет не обо мне, а о Мальке, или о Мальке и обо мне, но всегда в центре внимания будет Мальке, ведь это у него был пробор посередине, он носил высокие башмаки, у него на шее висела то одна, то другая побрякушка, предназначенная отвлекать вечную кошку от вечной мыши, он преклонял колена у алтаря Пресвятой Девы Марии, он был ныряльщик, обожженный солнцем, и всегда, пусть с безобразно сведенным судорогой лицом, на несколько метров опережал нас, он хотел, едва выучившись плавать, когда-нибудь, скажем после окончания школы, сделаться клоуном в цирке и смешить людей.

У снежной совы тоже был важный пробор посередине и, совсем как у Мальке, страдальческая, исполненная мягкой решимости и словно бы пронзенная зубной болью мина Спасителя. Эту хорошо препарированную и лишь слегка подрисованную птицу, когтями впившуюся в березовый сучок, ему оставил в наследство отец.

Центром его комнатушки для меня, старавшегося не смотреть ни на снежную сову, ни на олеографию Мадонны, ни, наконец, на серебряную ченстоховскую бляшку, был патефон, который Мальке, кропотливо трудясь, вытаскивал из воды. Пластинок он под водой не нашел. Скорей всего, они растворились. Этот еще довольно современный ящик с заводной ручкой и мембраной он извлек из офицерской кают-компании, уже подарившей ему ту серебряную бляшку и несколько других мелочишек. Кают-компания помещалась в центральной части судна и, следовательно, для нас, даже для Хоттена Зоннтага, была недоступна. Мы

спускались только в носовой отсек и не отваживались пробираться через темные, дрожащие от проплывающих рыб коридоры с тесными каютами по сторонам.

Незадолго до окончания первых летних каникул на лодчонке Мальке, нырнув не менее двенадцати раз, вытащил патефон — как и огнетушитель, немецкого производства. Метр за метром проталкивал он ящик к люку и наконец, с помощью того же крюка, которым в свое время выудил «Минимакс», поднял его на поверхность, а затем и на палубу.

Из прибитых волнами дощечек и пробки нам пришлось соорудить плот, чтобы переправить на берег тяжелый ящик с заводной ручкой. Плот мы толкали по очереди. Все, кроме Мальке.

Через неделю патефон, починенный, смазанный, со свежесбронзированными металлическими частями, уже стоял в его мансарде. Диск был обтянут новым фетром.

Мальке завел аппарат, и пустой ярко-зеленый диск закрутился. Мальке стоял скрестив руки, рядом со снежной совой, сидящей на березовом сучке. Его мышь спала. Я стоял спиной к Сикстинской мадонне и попеременно смотрел то на пустой, чуть покачивающийся на ходу диск, то в окно мансарды, поверх ярко-красных черепичных крыш, в направлении церкви Сердца Христова с циферблатом на фасадной и с циферблатом на восточной стороне башни. Прежде чем пробило шесть, патефон с затонувшего тральщика зашипел и остановился. Мальке несколько раз его заводил и требовал от меня деятельного участия в своем новом ритуале: множество звуков разного тембра, освященный холостой ход. В то время у Мальке еще не было пластинок.

Книги стояли на длинной прогнувшейся полке. Он ведь любил чтение, в том числе религиозное. Наряду с кактусами на подоконнике, моделью торпедного катера класса

«Волк» и моделью посыльного судна «Каприз» я должен упомянуть еще о стакане, стоявшем на умывальнике рядом с тазом: стакан всегда был мутный, а на дне слой сахара толщиной в палец. В нем Мальке, не выливая вчерашнего осадка, по утрам размешивал сахар в воде, покуда она не превращалась в молочно-белый раствор, который должен был скрепить его от природы тонкие и рассыпавшиеся волосы. Как-то раз он предложил мне это средство, и я втер в свою шевелюру сладкую воду. Моя прическа и вправду застекленела от обработки этим раствором и продержалась до самого вечера. Но кожа под волосами зудела, руки стали липкими, как у Мальке, оттого что я проводил ими по волосам, проверяя, достаточно ли они подслащены, — но, может быть, я позднее придумал липкие руки, а они вовсе и не были липкими.

Внизу, в трех комнатах, из которых использовались только две, жили его мать и ее старшая сестра. Очень тихие при нем и неизменно боязливые, они гордились своим мальчиком: Мальке, судя по отметкам, был хорошим, хотя и не первым учеником. Его школьные успехи умаялись тем, что он был на год старше нас: мать и тетка на год позже отправили в народную школу слабого, по их мнению, болезненного ребенка.

Он не был тщеславен, зубрил умеренно, каждому давал списывать, никогда не ябедничал, не выказывал особога честолюбия, кроме как на уроках гимнастики, питал явное отвращение к грязным привычкам пятиклассников и возмутился, когда Хоттен Зоннтаг, найдя под скамейкой в парке презерватив, принес его в класс насаженным на прутик, как на пику, и надел на ручку двери. Решил досадить учителю Трейге, полуслепому старикану, которому давно пора было на пенсию. Кто-то уже крикнул в коридоре: «Идет!» Мальке вылез из-за парты, неторопливым

шагом направился к двери и обрывком бумаги снял презерватив с ручки.

Все смолчали. Он опять показал нам, каков он есть. И теперь я могу сказать: в том, что он не был тщеславен, умеренно зубрил, давал списывать всем и каждому, не выказывал честолюбия, разве что на уроках гимнастики, и не имел грязных привычек, он опять-таки был ото всех отличным Мальке, который добивался успеха как-то изысканно, но и судорожно в то же время; в конце концов он ведь стремился попасть на арену, а то и в театр, упражнялся в клоунаде, удаляя из класса презервативы, слышал тихий шепот одобрения и был без пяти минут клоуном, проделывая свои обороты на перекладине, так что серебряная Богоматерь вихрем кружилась в спертom воздухе гимнастического зала. Но всего больше лавров он пожинал в летние каникулы, на потонувшем тральщике, хотя одержимое его ныряние отнюдь не представлялось нам эффектным цирковым номером. Нам и в голову не приходило смеяться, когда он, посинелый и дрожащий, влезал на лодчонку и тащил со дна морского какую-нибудь ерунду, чтобы нам ее показать. Мы только восклицали, задумчиво и восхищенно: «Чудила ты, старик! Мне бы твои нервы! Сумасшедший ты тип, Йоахим! И как ты умудрился опять раздобыть такую штуку?»

Одобрение действовало на Мальке благотворно и угомоняло прыгуна у него на шее, с другой же стороны, одобрение давало этому прыгуну новый импульс. Ты не был хвастунишкой и никогда не говорил: «Попробуй-ка повтори» — или «Ну, кто из вас сумел бы, как я третьего дня, нырнуть четыре раза подряд, пройти до самого камбуза и унести оттуда консервную банку. Это определенно были французские консервы — лягушачьи лапки, на вкус вроде телятины, но у вас, видно, понос был, вы даже попробовать

не захотели, после того как я уже полбанки выжрал. А потом я еще одну вытащил и даже консервный нож нашел, но эта вторая банка — с тушенкой — была испорчена».

Нет, Мальке так не говорил. Он совершал невероятное, например раз за разом вытаскивал из бывшего камбуза лодчонки консервные банки, судя по штампованным надписям — английского или французского происхождения, сумел под водой «организовать» консервный нож, на худой конец еще годный к употреблению, на наших глазах молча вскрывал эти банки и поедал их содержимое — лягушачье мясо, как он полагал, — при этом его кадык проделывал стремительные гимнастические упражнения: кстати, я забыл сказать, что Мальке от природы был прожорлив, хотя и оставался худым, и вызывающе, но не назойливо протягивал нам банку, когда она была уже наполовину пуста. Мы благодарили и отказывались, а Винтер от одного вида этих консервов долго блевал, повернувшись лицом к гавани.

Конечно, Мальке и этим демонстративным обедом снискал наше одобрение, жестом отклонил таковое, бросил остатки лягушатины и вонючую *corned beef** чайкам, которые еще во время его жранья беспокойно носились над вожденной добычей. Наконец он столкнул за борт жестянки, а вместе с ними чаек и почистил песком консервный нож; только этот нож он и решил сохранить. Так же, как английскую отвертку, как то один, то другой амулет, он стал носить его на шее под рубашкой, правда не постоянно, а только когда собирался в камбуз затонувшего польского тральщика за консервами — ни разу он не испортил себе ими желудка; этот консервный нож на бечевке под рубашкой наряду с разной другой ерундой являлся с ним

* Солонина, тушенка (англ.).

в школу и даже к ранней обедне в церкви Пресвятой Девы Марии. Это известно потому, что, когда Мальке преклонял колена перед алтарем, откидывал голову и высовывал язык, а его преподобие Гузевский клал ему в рот облатку, служка, стоявший подле патера, заглядывал Мальке под воротник и видел, что у тебя на шее консервный нож болтается рядом с Мадонной и жирно смазанной отверткой. И я восхищался тобой, хотя ты не прилагал к этому ни малейшего усилия. Нет, Мальке не был тщеславен.

Даже то, что осенью, когда он научился плавать, его вышибли из юнгфолька и сунули в гитлерюгенд из-за того, что он по воскресеньям несколько раз отказывался подчиниться приказу с утра вести свой отряд — он был юнгцугфюрером — в Йешкентальский лес на праздник, вызвало, по крайней мере у нас в классе, всеобщий восторг. Изъявление наших чувств он, как обычно, принял спокойно, даже несколько смущенно, продолжая и впредь, уже как рядовой член гитлерюгенда, отсутствовать утром по воскресеньям, только что его отсутствие в этой организации, охватывавшей всю молодежь, начиная с четырнадцатилетнего возраста, особенно не бросалось в глаза. Не в пример юнгфольку гитлерюгенд был организацией довольно разболтанной, и люди, подобные Мальке, могли незаметно в ней раствориться. К тому же он не был саботажником в обычном смысле этого слова, всю неделю регулярно посещал клубные вечера и кружки, старался быть полезным во время все чаще устраивавшихся «особых кампаний» вроде сбора утиля или «зимней помощи», коль скоро звон монет, опускаемых в жестяную кружку, не имел касательства к воскресной ранней обедне. А так как перевод из юнгфолька и гитлерюгенд не был чрезвычайным происшествием, то член этой государственной молодежной организации Мальке остался в ней безвестным и бесцветным,